

I. Стойки

В падении римской империи [1] первый раз история представляет нам в громадных размерах зрелище смерти общества. Здесь мы встречаем трагические фигуры тогдашних отщепенцев, быть может, не умевших жить, но за то умевших умирать.

Когда, после веков дикой неурядицы и борьбы, победители подумали, наконец, о том, чтобы дать обществу, в котором они достигли господства по праву сильного, постоянные формы и прочные учреждения, они возвели в закон и право, в теорию и абсолютную истину все, что видели вокруг себя и что создалось насилием, смертельной борьбой, анархией и грубым варварством. Таким образом возникло первое основание римского права — уложение децемвиров [2]. Это уложение, эти так называемые Двенадцать Таблиц заключали в себе провозглашение государственным и гражданским правом всего, что произвели в обществе столетия кулачного права. Одно из основных положений их гласило следующее:

«Призови своего должника в суд. — Если он не пойдет, возьми свидетелей, принудь его. Если он будет противиться и захочет бежать, наложи на него руку. Если старость или болезнь не позволяют ему явиться, дай ему лошадь, но не давай носилок».

«За богатого пусть отвечает богатый, за пролетария — кто хочет. Когда он признает долг и дело будет решено, дай ему тридцать дней сроку, потом наложи на него руку и приводи к судье. Суд закрывается с закатом солнца. Если он не заплатит своего долга; если никто не захочет отвечать за него, — заимодавец уводит его и вяжет веревками или цепями, весом в пятнадцать фунтов; а захочет заимодавец, то и меньше пятнадцати фунтов. Пленник должен жить на свой счет. Если же не может, то дайте ему фунт муки или, если хотите, то и больше».

«Если он не заплатит, то держите его в узах шестьдесят дней; но трижды в торговые дни выводите его в суд и объявляйте на площади, сколько он должен».

«На третий торговый день, если заимодавцев несколько, пусть они разрежут тело должника. Отрежут ли они больше или меньше, никому нет дела. Если хотят, они могут продать его за Тибр [3] чужеземцам».

Таково было право, из которого выработалось и развилось позднейшее законодательство и шла несколько веков жизнь общества.

Это право имело губительные последствия. Через 400 лет после того, как децемвиры формулировали в положениях Двенадцати Таблиц дух римского общества, Тацит [4] писал: «Лихоимство, наш старинный порок, — главная причина всех гражданских междоусобий и возмущений; постановления против лихоимства нарушались самими сенаторами, и ни один из них не был чужд этого преступления».

Общество, основавшее свое право на лихоимстве и насилии, а свою жизнь на рабстве и вечной борьбе, стало, наконец, неудержимо банкротиться. «Что защищать? Что преобразовывать? — писал Тиберий [5] сенату. — Эти громадные развалины, этот народ рабов, что ли?»

Действительно: преобразовать было поздно, защищать нечего. Увлеченное логикой своих принципов, общество неудержимо стремилось к ликвидации, вымиранию и разрушению. Конечно, мало кто из современников понимал это, а кто и понимал, то не всякий высказывался. Многим империя казалась спасительной реформой: льстецы славляли вечный мир, дарованный миру Августом [6]. Идиот Клавдий [7] и свирепое чудовище Каракалла [8] совершали благодетельные и гуманные реформы; процветали искусства и литература; знаменитые юристы увенчивали величественное здание римского права; во главе науки стоял Плиний [9]; Тит Ливий [10] и Тацит писали историю; поэты предсказывали золотой век:

Nic vir, hic est, tibi quem promitti saepius audis, Augustus Caesar, divi genus; aurea condet saecula qui rursus Latio, regnate per arve Saturno quondam. Вот он, тот муж, о котором тебе возвещали так часто:

“ Август Цезарь, отцом божественным вскормленный, снова
Вок вернет золотой на Латинские пашни, где древле
Сам Сатурн был царем (лат.).

Перевод С. Ошерова. [11]

Однако, если сам император признавался в бесплодности всяких реформ, то, значит, зло было довольно велико и очевидно. Если сам защитник порядка говорил прямо, что не видит ничего, что было бы достойно защиты, значит, он понимал, что люди давно сами знают это и что разрушение общества для многих не секрет. Да и могло ли оно быть тайной, когда, при начавшемся банкротстве, погибли все немногие украшения, которые прикрывали несостоятельность и варварство общественных начал, погибли те внешние формы свободы и права, которые составляли благополучие, если далеко не всех, то по крайней мере аристократического меньшинства. Тогда-то пришлось испытать печальные результаты всего общественного строя и тем немногим, которым до сих пор этот строй был выгоден. Поэтому первый протест против разлагающегося общества вышел из среды аристократии. Протестантами явились те самые люди, которые, подобно Бруту [12], пускали деньги в рост на 50 процентов, подобно Катону [13], морили с голоду состарившихся рабов или, как Сенека [14], были первыми богачами своего времени и Нероновскими министрами.

С этой стороны упреки, делаемые большинству стоиков, совершенно справедливы, как справедливо, разумеется, и то, что такие протестанты не могли видеть истинных причин зла и обращать свое негодование против того, что действительно заслужило его. Так, Бенетам [15] мог основательно заметить, например, что со стороны Сенеки и Плиния было крайнею близорукостью и мелочностью вопиать, как против величайшего преступления, против употребления духов или льда летом. Но недалекость и узость многих представителей стоицизма не должна заслонить собою в наших глазах того, что в этом направлении было хорошего и законного. Оно было законно, как всякий протест против общества, подобного

римскому времен упадка.

Несмотря на свой аристократизм и недостатки, стоики вообще были железные, сильные люди, которых не мог сломить деспотизм или коснуться растление общества. Они были достойные потомки Торквата [16], Муса и сенаторов гэльского нашествия [17] и битвы при Каннах [18]: такие же суровые, непреклонные аристократы и такие же твердые, непоколебимые граждане. Как те, среди величайших опасностей частых войн, были недоступны чувству страха, так неустрашимы были стоики в виду жестокого насилия деспотизма. Как те, после самых страшных поражений, вели себя, как победители, и отвергали всякую мысль о мире; как те хотели, побежденные, предписывать мирные условия и отвечали торжествующему врагу, что до тех пор не может быть и речи о переговорах, пока последний солдат его не очистит Италии, — так и враги империи не допускали возможности никаких компромиссов с этим порядком вещей, держали себя с большею гордостью, чем сам император, и не хотели слышать о примирении с ним, пока он не возвратит похищенной свободы.

Но все было напрасно, и протест их не мог остановить упадка общества, положить предела развитию деспотизма.

Да, все, что современникам Цезаря [19] казалось временным бедствием, случайным неблагоприятным стечением обстоятельств, должно было кончиться не прежде, как с последнею искрою жизни в древнем мире. Все более и более приходилось убеждаться в этом людям позднейшего времени. Надежда на прекращение зла постепенно исчезала, и наконец каждому, кто еще пытался плыть против течения, представилась ясно, как дважды два четыре, роковая дилемма: или заключить с действительностью полюбовное соглашение, или выйти вон из общества. Стоики всегда избирали второе решение. Они отказывались от соглашений без всякой задней мысли, хотя не могли не видеть, к чему их поведет такое решение вопроса.

Жить свободным в обществе, подавленном деспотизмом, жить среди доносчиков и развратников, жить разумно в мире, управляемом безумием или прихотью Калигул [20] и Неронов, — невозможно. Тогда человеку, нежелающему мириться с негодным порядком вещей, дорожающему своею личною чистотою, своим человеческим достоинством, уважающему себя и верующему в себя, остается одно из двух: если у него есть в будущем верования и надежды, если идеал его впереди, то он найдет в себе силы, не отказываясь от жизни и деятельности, направить их против того, что ему ненавистно, и победить или умереть в этой борьбе. Но если человек не предвидит в будущем ничего; если идеалы его все в прошлом, позади его; если, короче, он не желает, а жалеет, тогда ему остается только выход из общества, отречение от жизни.

Человек с заглушенною совестью, как Тиберий, поняв эту безнадежность общества, обратил бы его не только в орудие своего честолюбия, но и в средство оправдать себя перед нравственным судом. Он сказал бы, что общество пало так глубоко и низко, что поднять его невозможно; что всякого, кто попытается сделать это, ожидает гонение и отлучение этого же самого общества; что, следовательно, всякий должен думать только о себе, и умный человек может делать с таким стадом все, что нужно ему для своих интересов, не обращая

внимания не на его мнение, так как оно льстиво и продажно, ни на право и нравственность, так как их не существует.

Но стоики были люди слишком честные, чтобы обратить свое понимание общества в средство покутить на его счет и оправдать этот кутеж. Они не хотели торговать своим взглядом на современную им жизнь и выковырять себе из него броненосную совесть и медный лоб, для совершения самых вопиющих злодеяний, для участия в самых цинических оргиях. Но не имея в то же время идеала впереди себя, не видя, откуда могло бы прийти спасение, отчаявшись в человечестве, они смело решались на удаление из жизни и часто доводили это решение до крайних его последствий — до самоубийства. Этим они доказали, что умеют делать логические выводы из принципов, а главное, не робеют перед этими выводами и принимают их чистосердечно, с полной готовностью последовать всему, что они укажут им.

Конечно, такие люди не отступали перед другими последствиями своего взгляда на жизнь. Плиний-младший [21], например, будучи адвокатом, ни разу не взял ни малейшего вознаграждения от тех, кто обращался к нему с делом, находя, что защита истины, права или невинности — не такая вещь, которою позволительно промышлять. Плиний-младший действовал таким образом в эпоху, когда все было продажно. Впрочем, он не был единственным стоиком, умевшим соглашать принципы с действиями. Если история более говорит нам о героических самоубийствах людей этого направления, чем о великих подвигах самоотверженной деятельности их жизни, то это потому, что в их положении, с их безнадежным взглядом, не возможна была честная деятельность.

Как Тиберий, так и стоики находили, что исправлять и защищать нечего, только делали из этого другой вывод. «Если так, — рассуждали они, — то, стало быть, не может быть никакой деятельности; практическую жизнь с ее тревожениями и передрыгами следует предоставить подлецам, которых она одних достойна и которые одни способны не брезгать ее помоями. Честный человек должен отказаться от всякого дела (а это ему было тем легче, что в распоряжении его был труд сотни или тысячи рабов) и уйти в самого себя, пока, наскучив своим одиночеством, не найдет самым простым и лучшим — вскрыть себе жилы».

Самые последовательные и честные стоики не те, о которых больше всего говорит история. Это не мудрые философы, не бескорыстные адвокаты, не благодетельные проконсулы, как Плинии. Это не Сенека, который, воспитывая Нерона, воображал, что может принести пользу миру, дав ему идеального повелителя. Это не Марк-Аврелий [22], который, при своем безнадежном мирозерцании, был убежден, что все в жизни *vanitas vanitatum* {1}. Нет, настоящие, искренние стоики стоят в истории на заднем плане: их строгие, величественные, грустные фигуры виднеются как бы в тумане, в глубине мировой сцены, занятой толпами алчущих, дерущихся, добывающихся жизни и ее благ, ищущих, озабоченных, суетливых. Это — люди, которых заставляла говорить только их смерть, которые после долгого молчания выступают вперед лишь затем, чтобы пронзить себе грудь, — люди смерти, а не жизни. Это — Тразея [23], Лабиен [24], а из всемирно-исторических имен разве один Эпиктет [25] — этот римский аскет — брамин, этот предшественник Антониев [26] и Пахомиев [27].

Это весьма понятно: честному стоику были заказаны все пути. Что ему было делать? Управлять обществом в качестве государственного человека, когда он признавал только свободное общество, а в современном свобода была немыслима! Двигать вперед науку? Зачем? Наука для науки? Да, для такой деятельности был только один честный результат — броситься в Везувий. А иначе зачем наука такому обществу? Учить умирающего, просвещать труп, развивать столетнего старика? Какая интересная деятельность! Или, быть может, принять участие в делах общества, в звании проконсула или другого чиновника, под ведением такого благонамеренного администратора, как Траян? Утешать себя мыслью, что хоть немного облегчишь кое-какое частное зло, хоть кому-нибудь сделаешь сносным существование, не допустишь двух, трех случаев грабежа? Но достойно ли это честного человека, который видит, что зло не в каких-нибудь злоупотреблениях, а в самом корне общества, что общество безапелляционно осуждено на гибель, что грабеж не случайность, а неизбежность?

А если так, то стоит ли решаться падать в эту грязь и жертвовать своими убеждениями, идти на компромисс из-за того только, чтобы зло коренное, необходимое и неизлечимое давало себя несколько времени слабее чувствовать! Не следует ли лучше желать, чтобы оно поскорее дошло до своего апогея, чтобы скорее все почувствовали и увидели воочию невозможность такого порядка вещей! Кто решился бы сделаться врачом, имея в перспективе не излечивать болезни, а лишь протягивать агонии, не избавлять людей ампутациями от страданий, а лишь продолжать на лишнюю неделю их гниение заживо? Как назвать такого врача?

Наконец, во времена римского упадка для людей с воззрениями стоиков невозможна была и та деятельность, которую особенно любят все отщепенцы и протестанты, — деятельность народных трибунов. Императоры могли не без успеха выдавать себя за защитников интересов народных масс. Та свобода, о которой вздыхали стоики, была свобода аристократическая, узкая, основанная на тирании, эксплуатации и рабстве. Представители кровавого права Двенадцати Таблиц — что могли они ответить на крик народа — *usuga*?!

Ответить на него было суждено людям другого права, других принципов, другого идеала.

Итак, вот почему протест стоиков был бессилен и мог заключаться лишь в отречении от деятельности с логическим заключением к самоубийству. Отрицая современный им порядок, они сами принадлежали по понятиям к ветхому миру, который умирал и которого этот современный порядок был законным детищем.

Вот почему отрицание их должно было останавливаться на полдороге. Они не враждовали с основаниями общественного быта, а только с теми явлениями его, которые возникли в последнее время. Они не отрицали ни рабства, ни завоевания, ни своего беспощадного права собственности, узаконенного точно драконом для Шейлока [28], не своего семейного быта с рабством женщины, с освященным самодурством отца. Они не отрицали мудрости своих юристов, ни политики своего сената, ни экономического антагонизма своих патрициев и плебеев, ни лихоимства своих всадников [29]. Все это казалось им непогрешимым, вечным, необходимым, без чего общество, государство были немыслимы, что стояло вне всякого сомнения и отрицания. Но все это как было основанием республиканского общества, так и

осталось основанием общества имперского. Следовательно, чтобы отрицать порядок императорского Рима, необходимо было начать его с существенных оснований общества, а до этих-то оснований они и не подумали коснуться. Значит, истинными отщепенцами они не были и быть не могли.

Тем не менее на них с уважением и любовью обращались взоры позднейших, других отщепенцев иных обществ. И они, без сомнения, вполне заслуживают такой симпатии, потому что, если не могли придать своему отрицанию более глубокого смысла, не могли выразить его деятельностью, зато никто лучше, сильнее и честнее их не заявлял своего разрыва с обществом. Печален ряд этих мучеников без венца, без рая впереди, этих героев, осужденных на бездействие, этих скованных титанов...

Много еще жертв пожрал после них сфинкс, свирепствующий на пути прогресса человечества. Много жертв погибло в бою, на кострах и эшафотах, с голоду и в пытках, в застенках и на улице, — но едва ли не всех трагичнее была участь этих именитых и сановных, важных и аристократических самоубийц. Все, кроме их, умерли с верою, пали в борьбе. Одни они должны были сами произнести себе смертный приговор за неумение ужиться с обществом и за неспособность сильнее отрицать его.

Вот как изображает один современный отщепенец [30] личность одного из этих людей.

Тит Лабиен

Слышали вы о Лабиене? То-то был странный человек! Представьте себе, что он непременно хотел остаться гражданином страны, где были только подданные! Возможно ли это? Есть ли тут смысл? «Civis Romanus sum»{2}, — говорил он и знать ничего не хотел. Он думал, как Цицерон [31], умереть свободным в стране свободы. Какое безумие! Быть гражданином и свободным! Разве это не сумасшествие? Без сомнения, голова его была не в порядке; мозг его был опасно поражен; по крайней мере так уверял врач Августа, знаменитый Арторий, который называл такой род безумия резонерством и советовал лечиться больному тюремным заключением. Лабиен не последовал докторскому совету и потому, как увидим, не выздоровел.

Тит Лабиен [32] носил имя, уже дважды прославленное честными гражданами. Первый Лабиен, полководец Цезаря, покинул его при переходе через Рубикон, чтобы не быть сообщником в его преступлении; второй [33] — предпочел служить скорее парфянам [34], чем триумвирам. Наш герой был третий в роде. Одна строка Сенеки-ритора вполне обрисовывает нам великую личность Лабиена, который сказал: «Я убежден, что правда, высказанная мною, поймется только после моей смерти». Первоклассный оратор и историк, Лабиен достиг славы, победив тысячу препятствий. О нем справедливо говорили, что он не вызвал, а так сказать — вырвал из груди своих современников крик невольного к себе удивления. Лабиен писал историческое сочинение, из которого по временам прочитывал несколько страниц верным своим друзьям... и то притворив двери.

По поводу этого сочинения в первый раз выдумали жечь книги, следуя совету одного сенатора, которого впрочем самого постигло вскоре придуманное им наказание. Таким образом, Лабиен первый в Риме заслужил честь вызвать против себя преследование власти за свободу убеждения. Это дикое преследование уже не новость в настоящее время либеральной подлости. Бедный погорелый историк не мог пережить своего сочинения: он скрылся навеки в могильном склепе своих предков. Лабиен думал, умирая, что творение его погубило, — но ошибся. Друг его, изгнанник Кассий, знал наизусть все, что он написал, и был, по собственному выражению, «вторым изданием сочинения Лабиена».

Смерть Лабиена была так же безумна, как и жизнь: он кончил самоубийством, как настоящий стоик. Стоило умирать из-за того, что сожгли книгу! Сенат не желал смерти виновного; он только хотел дать ему, как говорится, предостережение, которым следовало воспользоваться. Но этот отщепенец римской империи был так непрактичен, что решился лучше умереть добровольно, чем жить без воли, пресмыкаясь в рабстве и позорной трусости. Вот почему он спокойно и сознательно стал в ряды тех славных стоиков-самоубийц, тех последовательных и непреклонных противников империи, тех непрактических мудрецов, которые даже своею смертью хотели выразить протест и, вскрывая Себе жилы, воображали, что делают неприятность императору. Некоторые убивали себя только для того, чтобы побесить государя, который смеялся над ними со своими наушниками и окончательно убеждался в достоинствах своей политики, видя, что дело делается само собою.

Таков был Лабиен, неисправимый, упрямый чудак! Дальше вы увидите, что он чудил постоянно и в суждениях своих никогда не мешал правды с кривдой и не терпел лицемерия. Разве это не смешно? Кто не согласится, что это был человек отсталый, потому что свобода была в то время старой штукой; он был реакционер, потому что желал возврата к убитой республике; он был приверженец старого порядка, потому что любил старую свободу и ненавидел новое рабство; короче, он был неисправимый отщепенец.

Да, Лабиен был из тех опасных людей, которых сильная власть должна приводить в трепет для успокоения добрых граждан, то есть для усыпления нечистой совести и развития общественных зол. Мало того, Лабиен был неблагодарен: в виду гордого владычества цезаризма, в виду славы, пожирившей общее благосостояние, в виду, наконец, разгула грязных страстей оступевших подданных, он отрицал благодеяния, которые щедром рукою сыпал на людей второй основатель Рима, спасенного от республиканской свободы. Он бесновался, глядя на падших римлян, и таил непримиримую ненависть к насилию. Злоба его была безгранична; власть Августа душила его; он не мог ни говорить, ни писать, ни действовать, ни двигаться, и потому по целым часам, на Сублиниевом мосту, неподвижный и молчаливый, с яростным взором и угрожающим видом, точно статуя Марса-Мстителя, точно окаменевший трибун, стоял он на берегу Тибра, стоял под грозой и бурей.

«Пока длятся нищета и позор, — говорит Микельанджело [35], — всего лучше забыться сном или обратиться в камень». Лабиен не дремал, но был камнем неподвижным, твердым, как капитолийская скала (*immodile saxum*) [3]. Он не поддавался тирании и был неприступен для империи. Это был римлянин старого закала, которого ничто не могло своротить на путь бесчестья. Одинокий стоял он, как Коклес [36], между армией и пропастью, презирая обе.

Он не боялся Августа и улыбался смерти. Пожалуй, в этом была доля хорошего, но говоря вообще, какой ужасный характер, какая железная воля! Ему не нравились даже великолепные медали Октавия, на которых были изображены три соединенные руки триумвиров и громкий девиз: «Спасение человечества!» Лабием уверял, что подобное спасение хуже убийства и повторял слова Горация [37];

«Когда тиран спасти вас обещает, гоните вон его; он ваш убийца!»

Старый Лабием был из числа тех, которые видели республику. Это, конечно, была не его вина; но он имел глупость помнить это: вот в чем беда. Он видел славное правление и был недоволен им. Есть же люди, которые всем недовольны! Сорок лет славы вместо того, чтобы открыть ему глаза, совсем ослепили его; он походил на человека, который видит скверный сон, и действительность практической жизни казалась ему адским видением. Чудак! — Он постоянно удивлялся и никогда не верил совершившимся фактам. Эпимонид [38], проспавший целое столетие, менее дивился, пробудившись, чем этот сумасброд. Среди всемирной радости он был печален; среди римской оргии он был мрачен и сердит. Живя в римском обществе, Лабием был совершенно чужд ему и походил на грозное привидение, которое явилось будто с целью нарочно поразить ужасом живых и напомнить им о смерти. Его можно было принять за мертвеца, восставшего с поля битвы при Филиппах [39], за любопытную тень, пришедшую взглянуть, что делается. Когда приятели выражали ему свое сожаление, он отвечал им, что жалеет их самих.

Лабием всегда ворчал про себя, глядя на империю, как на царство гадов. Его ни в чем нельзя было разубедить, ничему нельзя было научить, и все, что он знал, того не забывал. Современный порядок вещей понимал он по-своему, потому что в нем коренились все старые брутовские понятия. Он был пропитан до мозга костей греческим мирозерцанием, которое в Риме давно уже было неуместно. Он казался ветхим, как XII Таблиц, и держался обычаев Фабриция [40] и Камилла [41].

Какие невероятные фантазии, какие идеи приходили ему на ум! И в довершение всего, какая дикая, необъяснимая страсть! Вообразите себе: он любил свободу! Дело ясно: Тит Лабием был не в своем уме. Любить свободу, понимаете ли — свободу!! — Ведь это отсталость, ретроградство, как думают либералы. Эти люди всегда любили либеральничать на словах, а на деле постоянно отвергали свободу, как опасную утопию, еще во времена Лабиема. Этот республиканец не был, конечно, либералом, в современном смысле, и не понимал, как можно, рассуждая о свободе, оставаться рабом и трусом.

Время шло своим чередом, а с ним и новые идеи: один Лабием был неподвижен. Он верил еще в справедливость и в совесть. Вот сумасшедший мечтатель! Вот непрактичный гражданин! Он рассуждал о человеческом достоинстве, о гражданской свободе; он толковал о трибунах, комициях, не видя, что все это унте давно растаяло, как снег, и стекло, в громадную клоаку, на краю которой он стоял почти одинок. Лабием продолжал вести летосчисление по консулам, так как Август не уничтожил их, не желая уничтожить республиканской формы и воображая, что может обмануть словами. Лабием сочинял по-прежнему речи к народу, как будто был еще народ; он говорил о законе, как будто в самом деле были законы. Империя казалась ему явлением временным, нелепой и позорной

страницей в летописях Рима. Ему хотелось поскорее перевернуть эту страницу или изорвать ее. Он думал даже, что это скоро кончится, и ласкал себя этой надеждой! Все считали его за сумасшедшего, и, как видите, он действительно был не в чужом уме.

Впрочем, Лабиен был добряк; — скорей упрямый, чем злой; — неспособный зарезать цыпленка, а тем более пожелать зла кому бы то ни было, разве, может быть, одному только Августу, да и то сомнительно. Добродушие его доходило до того, что он за наказание желал сослать Августа только на галеры вращать веслом, между тем как все прочие единомышленники его хотели повесить. Притом, следуя стоикам, Лабиен полагал, что наказание отчасти полезно виновному: потому, можно сказать, он и Августу желал того благополучия, какое только можно было пожелать, — то есть искупления.

Однажды, гуляя вечером под портиком Агриппы [42], Лабиен встречает Галлиона [43]. Лабиен был старый чудак, а юный Галлион — практический мудрец, молодой человек серьезный и кроткий, образованный и изящный, вежливый, осторожный, внимательный, пожалуй даже — умеренный стоик. Полуподданный, полугражданин, Галлион был одновременно человеком старого и нового поколения; по крови метис, по убеждениям тоже; он служил нашим и вашим. По временам, как Гораций, он обращал растроганный взор на гробницу свободы, а потом также приветливо взирал на колыбель империи; он оплакивал Катона и улыбался при имени Цезаря. Вообще Галлион был юноша добродушный и любил немножко всех и каждого, даже Лабиена. Он приходился братом Сенеке, которому наскучило жить, и дядей Лукану, который не умел умереть. В это время только изредка попадались еще порядочные люди, а герои совсем вывелись. Народ падал и разваливался в прах, прежде статуй своих богов и храмов. Кое-где можно было еще встретить несколько римлян сомнительного достоинства, и к числу их принадлежал Галлион. Этот лицемер писал стихи для любимцев Мецената [44], и критики называли его «остроумным Галлионом». Да и как же было не считать его умником, когда он носил звание проконсула! По имени его называли «галлионистами» всех индифферентистов в религии, то есть тех, которые не поклонились истуканам, а молились своим богам — императору и его фаворитам. Именем Галлиона следовало окрестить и тех, которые были равнодушны к политическим вопросам.

Лабиен, ругая молодежь своего времени, вероятно, прошел бы мимо Галлиона, не поклонившись ему; притом Лабиен был вообще не очень вежлив. — Он был не любезнее тех знаменитых сенаторов, которые некогда так холодно встретили галлов, гордо сидя среди форума. Да и Галлион, может быть, в другое время не решился бы остановить Лабиена; но в ту минуту он был так счастлив, так взволнован; ему так хотелось кому-нибудь высказать то, что он слышал; ему так хотелось наконец посмотреть, какое впечатление произведет на Лабиена его известие, что он остановил его.

— Здравствуй, Тит! *quid agis, dulcissime, regum?*{4} как твое здоровье?

— Плохо, если здорова Империя.

— Ладно! Все давно знают, что ты не весел; но я хочу сообщить тебе новость.

— Для меня не может быть ничего нового, пока живет Август.

— Знаю, знаю, что ты сердисься вот уже 30 лет и ни разу не улыбался со времен триумвирата. Знаешь ли, однако, что на днях вышли «Записки» Августа?

— С каких же это пор разбойники стали писать книги?

— С тех пор, как честные люди выбирают императоров.
— Жаль!
— Итак, любезный Тит, ты не будешь читать «Записок»?
— Прочитаю, Галлион, прочитаю со слезами стыда.
— И ты, конечно, станешь отвечать, разбирать, критиковать, короче — напишешь Анти-Цезаря, как Цезарь написал Анти-Катона?
— Нет, Галлион, я ничего не хочу писать об этом, потому что нельзя же спорить с человеком, у которого 30 легионов! В стране, где нет свободы, не следует касаться современной истории, потому что критика ее невозможна.
— Так ты не хочешь просвещать общество?
— Нет, я не желаю только участвовать в надувательстве его, потому что в настоящее время все, что пишется для публики, не может быть хорошо и ничего дельного появиться не может. Я стану продолжать свою историю и пошлю рукопись в верные руки Севера. Я спасу правду, послав ее в ссылку.
— Но все говорят, что критике будет дана свобода; тирания даст литературе восьмидневный отпуск.

— Дадут они свободу, знаю я, — свободу обманчивую, свободу карнавальную, декабрьскую свободу, *libertas decembris*, — как говорит Гораций. — Не надо мне такой свободы! Я не хочу писать против этой книги и вызывать месть Октавия или милосердие Августа. Я не хочу, подобно Цинне [45], дать шуту случай разыграть роль великодушного государя и взыскать, то есть опозорить меня своей милостью. Если книга хороша, то хвалить ее все-таки нельзя, потому что рискуешь смешаться с теми, которые будут хвалить ее по другим причинам. И так мне нельзя ни хулить, ни хвалить ее. Да притом книга не хороша и не может быть хорошей. Когда человек так глуп и подл, что делается деспотом и велит себе поклоняться, как богу, такой человек не может писать истории. Всем известно, что у него нет ни здравого смысла, ни совести. Он не может ни знать правды, ни высказать ее, если бы даже и знал. Зачем же берется он не за свое дело? Зачем писал этот венценосец? Император, желающий сделаться историком, должен начать с отречения. Август не сделал этого: дурная примета! Впрочем, я знаю уже, что в своем сочинении он оправдывает проскрипции [46] и защищает узурпацию [47]! И ты хочешь, Галлион, чтобы я писал разбор этого глупого и гнусного произведения, вышедшего с одобрения двух тысяч цензоров и рекомендованного публике преторианцами? Критика!! Тебе следовало сказать: осада. Неужели ты не видишь, мой миленький Галлион, что это один из самых забавных фокусов нашего коронованного гаера!

Да, Галлион, мы вырождаемся римлян. С Цезаря мы попали на Августа, из Харибды в Сциллу [48], от насилия стали искать спасения в коварстве, от дяди попались в руки племянника. Фу, какая гадость! Нет, сам я не попаду в эту литературную западню и не заманю в нее других. Нет, я не буду критиковать «Записок» Августа; — царей учит молчание народов, и я, Лабиев, дам такой урок Августу.

Впрочем, будь покоен: если тебе так хочется читать разборы этого императорского произведения, то не унывай. Дождем польются ученые рассуждения, остроумные и забавные критики, вежливые заметки. Ты начитаешься вдоволь раболепной лести, холопских возражений, эпиграмм, острот, которые не колят, а только приятно раздражают. Наслаждайся вдоволь резкими, но приятными упреками, сладчайшими любезностями,

благоухающими букетами риторики, подлой лести, облеченной в жесткие и суровые фразы. Тебя засыпят цветами красноречия и зальют потоками медоточивых хвалебных гимнов. Перед тобой на бархатных подушках понесут ученые возражения и на серебряных подносах будут подаваться критические заметки; всего будет довольно, милый Галлион. — Запляшет от радости хор государственных муз; сам Меценат откроет эту пляску. Для Августа не будет недостатка в читателях, ценителях, судьях, критиках, истолкователях; на все это найдутся люди! Кто создал Вергилия, тот может создать и Аристархов [49]; они ему нужны и не замедлят явиться: будь покоен!

Уже вся литература пришла в волнение: Варий [50] плачет от радости; Флавий нежно улыбается; Гатерий готовится к публичному чтению, а Тарпа к декламации; Помпей Мацер уверяет уже, что настала пора величия и славы, и посылает три роскошные экземпляра сочинения Августа в публичные библиотеки, которые недавно основал; Фенестела прибавил новый том к своей истории литературы; Метелл, заготавливающий для государя такие прекрасные речи, выставит на вид все ораторские красоты его книги, а грамматик Верин — красоты грамматические; в придворном журнале историк Марат напишет ученый разбор, а любимец Октавия, Атеподор, заготовит особые выписки для придворных дам и принцесс. Вот уже целый десяток! Я легко мог бы насчитать и тысячу. Все эти люди пройдутся пред императором церемониальным маршем и будут приветствовать его во все горло, как солдаты на параде. А он будет скромн и величествен: уста его будут говорить: «довольно», а улыбка: «еще», и толпа будет надрываться изо всех сил. Чернь семи холмов рукоплескала же подвигам тирана: почему же чернь литературной не похвалить его сочинения?!

Рукоплескания будут: но беда в том, что они раздадутся с одной стороны; в этом-то и обнаружится весь комизм его исключительного положения, как писателя. Несчастный! может быть, он не предвидел этого; но что же делать, если успех его сочинения будет заказной! Это горько, неприятно, но помочь горю нельзя. Власть имеет для писателя свои неудобства: путь венценосного автора усеян не одними розами. Иначе и быть не может; и сам Вергиний не избежал бы этой беды. Приходится испытать участь, которую сам искал; приходится глотать позор, которого сам жаждал. Итак, подожди, любезный Галлион: праздник скоро начнется; он будет шумен; посетителей будет много. Музыканты уже на местах; они настраивают свои инструменты и готовятся начать концерт. Смотри же и слушай, если тебе хочется. Я уверен, что зрелище позабавит тех, кто может еще смеяться.

Я знаю, что в сочинении говорится о последней гражданской войне и даже о последних минутах жизни Юлия Цезаря. Скажи по совести, любезный Галлион, неужели ты поверишь словам Августа?

Ведь он пишет сочинение о революции, которую сам затеял! Что сказать о преступнике, который оправдывает свое преступление? По-моему, это новое преступление удастся не так легко, потому что удобнее сделать пакость, чем оправдать ее. При всем том, новая затея Августа преступнее первой, потому что пагубнее по своим последствиям. Прежде Август посягал на жизнь людей; теперь же он грозит не только их жизни, но посягает уже прямо на совесть всех граждан. Прежде он губил только современное ему поколение; теперь хочет погубить и будущее. Это уже государственный переворот в нравственности, извращение человеческой совести, укоренение лжи, пощечина правде, славословие позора и подлости,

короче — это венец всех преступлений и торжество безнаказанной подлости. Сочинение Августа — собственная его похвала своим подвигам, которые он выставляет для подражания. Вот почему это сочинение обращается в устав злодейства и настоящее руководство для подлецов.

И такую книгу ты предлагаешь разбирать при деспотизме! Ты желаешь вызвать против Августа литературную оппозицию! Какой вздор! Критика против Октавия? Не смешно ли это! Разве сам Октавий Август критиковал Цицерона? — Нет, он просто убил его. Как! злодей вас душит и, проповедуя убийство, прежде чем покончить вас, — спрашивает вашего мнения насчет своего поступка! Он желает, чтобы вы сообщили ему откровенно свои убеждения политические и выразили ему свой взгляд на произведение его пера! Какой добряк, подумаешь! Ему ужасно хочется залезть к вам в душу, сделать в ней повальный обыск, а потом, когда добьется вашего признания, он пошлет вас беседовать с палачом! Где нее у тебя голова, милый Галлион? Подумай, чего ты от меня добиваешься!

Что сказал бы ты, если бы вор Беррес [51] написал сочинение о собственности? Неужели стал бы ты рассуждать с ним? А что такое «Записки» Октавия? Разве это не теория узурпации, написанная узурпаторами? Разве это не школа заговора, открытая заговорщиком, который избежал заслуженной казни?

Рассуди же, наконец, что автор может говорить только о том, что ему известно. Он знает, как грабить города, как резать сенаторов, как обирать храмы Юпитера. Он знает, как обманывать народ, как подкупать избирателей или обходиться без них. Он знает, как отделяться от соперников и опасных друзей, как казнить и ссылать врагов. Короче, ему знакомы игры деспотов в обман, насилие и вероломство. Он знает, как по методу первого Цезаря можно занимать у одних и давать займы другим и таким путем приобретать друзей направо и налево. Он знает, как обходить все препятствия, как переходить Рубиконы и потом, становясь выше всех законов, делаться владыкой и полубогом. Все это знает Август! Но он не смыслит ничего ни в истории, ни в политике, потому что не признает нравственности, кроме той, наследственной, которую выдумали для себя деспоты-злодеи с целью убить в себе совесть.

Итак знай, что в книге Августа напрасно искать чего-нибудь дельного, полезного и честного. В ней нет и быть не может даже намек на здравый смысл и совесть; зато, конечно, вдоволь всего, что отравляет ум и сердце. Какую же критику способна вызвать такая возмутительная пакость, как книга Августа? Неужели разбирать его литературные достоинства, филологические, археологические познания и спорить с ним о каких-нибудь мелочных подробностях? Дурак, кто делает ему такую честь!

Да, что бы ни делали и ни говорили люди, подобные Августу, они все-таки чувствуют себя извергами общества. Насилием и преступлением отделились они от честных людей и хотят тайком пробраться в их среду. В заключение всех низостей, их разжигает одно желание сравняться с людьми, сохранившими честное имя. Для достижения этой цели они скрывают свою волчью натуру в овечьей шкуре и притворяются добродушными, мягкосердыми. Они даже готовы плакать, чтобы заявить свое мягкосердие, и, подражая крокодилам, плачут иногда, как дети. И все это делается с умыслом возбудить в людях если не любовь и

уважение, о котором не имеет понятия, то, по крайней мере, сострадание к своей жалкой и позорной роли. Август добивается прощения! Этот кровопийца жаждет теперь уже не крови, которую сосал до сих пор: нет, похититель власти желает теперь похитить доброе имя и присвоить себе то, что имеют другие. Но он добивается невозможного! Это отчаянное усилие Августа подняться в глазах честных людей, эта последняя борьба Цезаря с общественным мнением, которое его подавляет, — и смешны и отвратительны, как последняя гримаса висельника, как улыбка гладиатора, желающего умереть с грацией.

Книга Цезаря — туалет приговоренного к смерти. Цезарь так гадок, что от него отвернется сам палач. Вот почему он хочет умыться перед публикой и обращается к ней с надеждой, что она бросит на него взгляд сожаления. В предисловии своего сочинения Август осмеливается взывать к читателю! Нет, пусть лучше прямо обращается к палачу; с ним ему надо иметь дело, а не с читателем.

Версия #3

Зверобой создал 3 июня 2026 00:40:38

Зверобой обновил 3 июня 2026 00:59:53